



Анна Берсенева

MAINSTREAM



COLLECTION

Соблазн
частной жизни

Анна Берсенева
Соблазн частной жизни

«Анна Берсенева»

2020

Берсенева А.

Соблазн частной жизни / А. Берсенева — «Анна Берсенева»,
2020

За двадцать лет многое переменилось в жизни Леры Вологдиной, героини экранизированных романов «Слабости сильной женщины» и «Ревнивая печаль». И совсем не радуют ее эти изменения... Лерин муж - всемирно известный скрипач и дирижер, она - директор его музыкального театра, одного из лучших в Москве. Это не позволяет им игнорировать угнетающую общественную атмосферу. Лера не любит банальностей, однако слова: «Бывали хуже времена, но не было подлей», - все чаще приходят ей на ум. И уход исключительно в частную жизнь представляется все более заманчивым... Тем более, из-за возраста с каждым днем тускнеет то, что всегда было в ней главным - яркая сила ее натуры. Но Лера не хочет приспособливаться к угасанию чувств, это ужасает! И вдруг появляется человек, вызывающий в ее душе волнение, которого она от себя не ожидала...

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Часть I | 5 |
| Глава 1 | 5 |
| Глава 2 | 11 |
| Глава 3 | 14 |
| Глава 4 | 20 |
| Глава 5 | 26 |
| Глава 6 | 32 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 35 |

Анна Берсенева

Соблазн частной жизни

Часть I

Глава 1

«Я разменяла шестой десяток. Какой ужас!».

Леру в самом деле ужасала эта мысль. Хотя, строго говоря, шестой десяток она разменяла еще год назад, и пора бы уж если не смириться с этим, то хотя бы к этому привыкнуть.

Но дурацкое, бессмысленное, навязчивое осознание своего возраста, о котором никогда в жизни она даже не думала, теперь приходило каждый раз, когда начинался ноябрь. Почему-то именно ноябрь, хотя логичнее было бы связывать это со своим днем рождения, тем более что конец марта тоже не отличался погодной лучезарностью.

А сейчас это осознание не просто пришло даже, а ударило под дых, как только такси, на котором уехала дочь, исчезло за поворотом дороги.

Аленка вызвала такси к воротам парка, и Лера вышла ее проводить. Машина долго стояла в пробке на Волоколамском шоссе, и, пока ее ожидали, произошел этот ненужный, случайно вспыхнувший и нервно разгоревшийся разговор.

– Это все только потому, что ты ищешь не чувств, а острых ощущений, – сказала Лера.

– Да, я не хочу жить скучно.

Аленка посмотрела с вызовом. Вызов в ангельски голубых глазах выглядел неубедительно.

– Дело не в скуке. – Лера старалась говорить мягким тоном, но чувствовала, что это ей не удается. – Ты просто не готова отдавать всю себя.

– Витеньке, что ли, я должна себя отдавать, да еще всю? – усмехнулась Аленка. – А ты уверена, что он этого заслуживает?

– Витеньке, не Витеньке, неважно! Ты в принципе на это не способна. Ты хочешь всего и сразу, а в отношениях так не бывает. Их надо выстраивать, а ты обрываешь при первой же заминке.

От назидательности собственных слов Лера рассердилась еще больше. Но они уже были произнесены, эти слова, уже застыли в тяжелом влажном воздухе.

– Мама, ты не понимаешь, о чем говоришь. – Жесткость еще менее, чем ирония, связывалась с Аленкиным обликом, но ее слова прозвучали жестко. – Ты просто не понимаешь. Это все не имеет отношения к моей жизни. Это вообще не о том.

Подъехало наконец такси, Аленка села в него, Лера проводила машину взглядом и пошла обратно по парковой аллее. И мысль о возрасте ударила ее под дых.

Вообще-то грех было жаловаться на ноябрьское уныние: как раз в этом году тепло длилось и длилось, и осень получилась поэтому золотая. Лера уж и забыла, как это бывает – из-за ранних заморозков листья много лет подряд делались бурными к концу сентября и даже не опадали, а висели на деревьях до весны, нагоняя тоску сухим зимним шорохом.

А сейчас она шла по центральной аллее, и в сумрачном тумане кленовые листья разлетались перед нею багровыми звездами, и золотые монетки бросали ей под ноги березы.

Виолончелист Егоров, которого Аленка насмешливо назвала Витенькой, нравился Лере. Не то чтобы она мечтала выдать дочь замуж – двадцать пять лет еще не тот возраст, в котором одиночество должно вызывать беспокойство, – но вот именно то, что Аленка при малейших

затруднениях разрывает отношения, притом с неплохим человеком, тревожило ее. У нее не жизненный опыт, а одна сплошная музыка, но Лере-то понятно, к чему могут привести эти обрывы, это восприятие чувств как житейских удобств, вечная эта временность, которая воспринимается уже как норма.

Она вошла в театр не через служебный, а через главный вход. Лера вообще любила входить через него, а в минуты душевной смуты особенно. Белизна мраморной лестницы, мерцание зеркал в полумраке, строгость колонн, мозаики нижнего фойе и медовый паркет верхнего – все это возвращало ей ощущение внутренней гармонии так же, как звуки музыки. Не музыки вообще, а именно в Ливневском театре.

Репетиция закончилась, но только Аленка уехала сразу из-за своей утренней ссоры с Егоровым, а другие музыканты и артисты еще выходили из зала и из артистических комнат в фойе.

Егоров вышел тоже. Он выглядел каким-то взъерошенным. Может и не из-за ссоры, а просто потому, что всегда таким выглядел.

«Что он, какой он? Не понимаю!» – подумала Лера.

Странное у него лицо: даже она через пять минут после знакомства забыла бы его, хотя память на лица у нее хорошая. Человек без облика, вот как она его назвала бы. Для музыканта это казалось ей странным. Разных музыкантов она видела и, может быть, не понимая разницу между ними через их мастерство, всегда понимала ее именно через облик, его выразительность или невыразительность.

«Может, правильно Аленка с ним поссорилась?» – подумала Лера, глядя вслед Егорову.

В общем гуле чувствовалась общая же приподнятость, всегда возникавшая после спектакля или репетиции. Голоса инструментов, музыкальные фразы, какие-то краткие мелодии еще доносились из зала.

«Я зря волнуюсь, – подумала Лера. – Она по нынешним представлениям, можно сказать, подросток. И она музыкант. А я наговорила ей какой-то ерунды. Как поссорилась с Витей, так и помирится, а не помирится, тоже ничего страшного, у нее таких Вить еще будет предостаточно».

Да, музыка успокаивает, и даже при отсутствии слуха. А может, дело в том, что в фойе нет окон, и не видно ни ранних сумерек, ни густого тумана, и ничто не нагоняет поэтому тоску.

Как бы там ни было, Лера повеселела. Она открыла маленькую дверь в конце коридора и, пройдя мимо охранника, поднялась по узкой крутой лестнице на второй этаж, к Митиному кабинету. Ее собственный кабинет находился в другом крыле театра, но ей хотелось, чтобы душевный покой стал абсолютным. Да и дела, которые необходимо обсудить, найдутся всегда, так что ее визит к Мите можно не считать одной лишь прихотью.

Дверь его кабинета была закрыта. Это означало, что входить не нужно, во всех других случаях дверь бывала распахнута настежь. Еще давным-давно Митя рассказал Лере, что такой способ взаимодействия с людьми был у Юрия Петровича Любимова в Театре на Таганке: дверь нараспашку, и все происходящее в кабинете слышно издали, что исключает возможность сплетен и тайных интриг для любого, кто приходит с этой неприглядной целью. Только сам Любимов мог закрыть дверь своего кабинета, и только если ему нужно было уединение или непубличный разговор. И прилегала эта дверь к косяку так плотно, что не пропускала наружу ни звука.

Прием был простой и действенный, Митя пользовался им всегда, считая, что иначе невозможно руководить театром. У Леры, правда, были свои приемы, попроще, ну так она же директор, может и без подобных тонкостей обойтись.

На нее Митины приемы не распространялись, она могла войти в его кабинет в любой момент. Но входить не стала, ничего ведь срочного, а уселась ждать на подоконнике в коридоре.

Темные мокрые ветки расчерчивали пространство за окном. Лера вглядывалась в этот непонятный чертеж.

Она не видела Митю почти неделю. То есть сегодня видела, конечно, но только из зала. Он вернулся в Москву рано утром и поехал в театр прямо из аэропорта, потому что берлинский рейс задержали, а репетиция в Ливневе была уже назначена, и отложить ее было невозможно.

Обычно он репетировал долго, иногда по три или даже четыре часа без отдыха. Лера не понимала, как это возможно. И, главное, как можно делать это не выдыхаясь, не отвлекаясь и не утрачивая ритма.

Но мало ли чего она не понимает. Митина жизнь вообще организована жестким образом. Лере часто казалось, что слишком жестким, и хотя он привык к этому с детства, но что теперь о детстве вспоминать, а годы хоть и много чего добавляют человеку, но уж точно не физических сил.

Жизнь всех связанных с Митей людей за счет устроенной таким образом его жизни, конечно, очень облегчалась: всегда был понятен порядок его действий, и можно было приладить к ним свои.

Исходя из этого понятного порядка, Лера знала, что дверь кабинета будет закрыта не дольше получаса, поэтому сидела на подоконнике и смотрела, как наливаются синевой сумерки за окном.

«У Аленьки своя жизнь, с каждым годом все более своя, – думала она. – Мне должно быть не сложно с этим смириться. Я ничего не понимаю в музыке, та часть ее жизни всегда была для меня закрыта, и ничего, приняла же я это как данность. И все остальное приму тоже».

Дверь наконец открылась. Из кабинета вышел маленький молодой человек. Митя остановился на пороге, провожая его.

– Тогда был просто панический сумбур, – сказал этот маленький человек. – Я по молодости тащил на сцену все, что плохо лежало. Устроил бюро режиссерских находок. Теперь мне за это стыдно, Дмитрий Сергеевич. Теперь я делал бы все иначе.

– Вы сделаете то, что считаете нужным, – ответил Митя.

Лера насторожилась, хотя, услышав, как совсем молодой человек говорит про свое прошлое «по молодости», стоило бы рассмеяться.

«Это они про что, интересно?» – подумала она.

– Лера, познакомься, – сказал Митя. – Гордей Андрианович Пестерев, режиссер.

– Валерия Викторовна Вологодина.

Она протянула руку, и Гордей Андрианович пожал ее. Ладонь у него была мягкая и рукопожатие безвольное. Лера доверяла безотчетным впечатлениям, и ее настороженность усилилась.

– Моя жена и директор театра, – сказал Митя.

Интерес, появившийся в глазах у Гордея Пестерева при этих словах, показался ей заискивающим. У него была узкая переносица, и маленькие глаза от этого были поставлены очень близко друг к другу. Тоже неприятно как-то выглядит, отметила она.

Но глупо заниматься анализом всяческих безотчетностей, тем более по отношению к человеку, которого видишь в первый и, возможно, в последний раз.

– Спасибо, – зачем-то сказал ей Пестерев. – До свиданья.

Застучали вниз по лестнице его ботинки. Лера поцеловала Митю.

– Устал? – спросила она.

– Не очень, – ответил он.

– Надо было ехать в отель и спать, раз рейс отложили, – сказала Лера. – Мы же с тобой уже старые, знаешь? Ты вообще об этом думаешь, Мить?

– У меня не было времени об этом подумать. – Он улыбнулся. – А ты из-за этого так расстроена?

Митина способность сразу видеть главное удивляла Леру, когда они были детьми, и теперь не изменилась ни эта его способность, ни ее удивление ею.

– Ну... да, – вздохнула она.

Он обнял ее. Она почувствовала его желание и отсутствие в себе ответного физического желания почувствовала тоже. Это стало так не сейчас, а уже некоторое время назад и с тех самых пор ужасало ее. Она любила мужа по-прежнему, но то, что связывало их физически, ослабело в ней, и Лера не знала, как теперь с этим жить.

Она подняла голову, и они стали целоваться. Для поцелуев нужна была только любовь, а страсть была не обязательна, и поэтому, целуясь, она чувствовала прежнее, не ослабевшее счастье.

– И почему же ты вдруг стала об этом думать?

Митя только чуть-чуть отстранился от ее губ. Прямые ресницы затеняли наружные края его глаз, и от этого казалось, что там, в скрытой их части, есть какая-то тайна. Лере всегда так казалось, а поскольку огромная часть его мыслей и чувств – все, что связано с музыкой, – действительно была тайной для нее, можно было считать, что и эта тайна, заресничная, тоже не кажется ей, не мерещится, а существует в действительности. Так оно и есть, конечно.

– Не вдруг, Мить, – сказала она. – Возраст, во-первых.

– Ты никогда о нем не думала.

– Не никогда, а до поры до времени. Когда-нибудь начинаешь думать – вот, начала. А во-вторых, из-за Аленки расстроилась.

– Что с ней случилось?

Тревога мелькнула в его глазах уже без всякой тайны, отчетливо. Они стали жить вместе двадцать лет назад, и за все эти годы не было ни дня, когда ему было бы безразлично, что происходит с ее дочерью. Собственно, Аленку можно было не только называть, но считать и его дочерью, без всяких биологических оговорок. Когда выяснилось, что у девочки абсолютный слух, и это невозможно было объяснить биологически – ни у кого из Лериной родни не было ни малейших музыкальных способностей, у ее первого мужа, Аленкиного отца, тоже, – Митя сказал: «Она ведь и моя дочь, почему не быть слуху?» – и Лера с ним согласилась, потому что уже в той, теперь почти непредставимой своей молодости понимала, что есть вещи, которые не потрогать рукой и не уловить прибором, но именно эти вещи оказывают самое сильное воздействие на то главное, что вообще в жизни есть.

– Она рассталась с Витей Егоровым, – сказала Лера.

– Ну знаешь ли! Я тоже думаю с ним расстаться. Он слабый виолончелист, зря место занимает в оркестре.

– Его музыкальные способности не имеют к их расставанию никакого отношения, – пожалала плечами Лера.

– Как сказать.

«А вот ты с ним как не вовремя расстаться решил», – досадливо мелькнуло у нее в голове.

Эта досада не относилась к Аленке, но Митины планы встревожили Леру не меньше, чем дочкины проблемы. Если Митя уже и ей говорит, что намерен расстаться с оркестрантом, значит, так и будет. И еще это значит неопределенность: как поведет себя Егоров, не возникнет ли осложнений, не решаемых трудовым кодексом, и какие это будет иметь последствия.

Лет пять назад Лере и в голову не пришло бы размышлять о таких вещах, да еще в связи с заурядным музыкантом. Все решения, связанные с оркестром и труппой, Митя принимает сам, всем известно, что он не принимает их безосновательно, и о чем же ей размышлять?

Но пять лет назад – это было все равно что в другой жизни. Теперь все возможные сложности приходилось учитывать, и сложностей такого рода Лера теперь боялась.

«Тоже возраст, может?» – подумала она то ли с безнадежностью, то ли с надеждой.

– А что Ленка говорит? – спросил Митя. – Почему они расстались?

– Да ничего толком не говорит, – вздохнула Лера. – Перестали быть нужны друг другу, мы разные люди и прочее в этом духе.

– Может, так и есть.

– Может, так. А может, не так.

– Тебя пугает, что она слишком легко расстается?..

– Митька! – воскликнула Лера. – Ты ясновидящий?

– Просто знаю, что тебя может напугать. Но боишься ты зря. Для нее время еще не имеет ценности, вот и вся причина.

– При чем здесь время? – не поняла она.

Митя умел заинтересовать ее в такие минуты, когда интерес – это было последнее, что сама она могла бы в себе обнаружить.

– При том, что его длительность драгоценна. Но странно было бы ей это понимать.

Лера и сама не очень поняла, что он имеет в виду.

– Не такой уж Аленка ребенок, – сказала она.

– Она вообще не ребенок. Но в двадцать пять лет еще не существует времени, – повторил он. – Это объективно так, ни от ума не зависит, ни от характера.

– Главное, она сама расстроена, я же вижу, – снова вздохнула Лера. – Расстроена, подавлена.

– Я с ней поговорю, – сказал Митя. – Не обещаю, что немедленно, но поговорю.

– Я совсем не уверена, что ей нужно опять сойтись с Егоровым, – пожалала плечами Лера.

– А я и не об этом с ней говорить собираюсь.

О чем он собирается с Аленкой говорить, Лера не спросила. Такие разговоры можно было предоставить на полное его усмотрение. Как, впрочем, и любые другие разговоры, и вообще все, что он считал нужным делать.

– Что это за Гордей, кстати? – спросила она.

Того, что Митя сказал об Аленке, достаточно. А о Гордее Пестереве ей необходимо знать побольше, раз с ним ведутся беседы за закрытыми дверями.

– Оперный режиссер, – ответил Митя.

– Не слышала про него.

Лера была директором Ливневского театра уже двадцать лет. Она считала себя отчасти и завхозом, и психологом, и от общения с чиновниками избавляла Митю по мере своих возможностей, хотя эта мера становилась все меньше с каждым не годом уже, а месяцем. Но всем, что касалось музыки, Митя занимался сам, и его место в музыкальном мире было таково, что Лерина помощь для ориентации в этом мире ему не требовалась. Так что вполне могла она не слышать про оперного режиссера Гордея Пестерева.

– Молодой он, вот и не слышала, – сказал Митя. – Я его пригласил к себе на репетицию в Берлин, и в аэропорту мы с ним потом поговорили.

– Так это ты из-за него спать не поехал, когда рейс отменили! – возмутилась Лера.

– У меня не было бы другого времени для разговора. – Митя опять улыбнулся ее возмущению. – А так мы все успели обсудить.

– Это что же?

– Что можно обсуждать с режиссером? Он хочет поставить «Скрипку Ротшильда». Я хочу, чтобы он поставил ее у меня.

– А разве есть такая опера? – удивилась Лера. – Или он ее напишет?

– Он не композитор, но опера такая есть. Начал ее Флейшман, закончил Шостакович. Там сильная была история, почитай, тебе интересно будет.

«„Скрипка Ротшильда“ – это ничего, – подумала Лера. – Ну что там может быть... такого? Чехов и Чехов».

Она устыдилась своей мелкой мысли, но что поделать – после скандала в Новосибирске из-за оперы про Христа, после травли режиссера и увольнения директора, да еще с волчьим билетом, не следовало удивляться ничему, в том числе и опасливым мыслям в собственной голове.

Митя стоял в эркере, шторы не были задернуты, стеклянная стена у него за спиной была подсвечена парковым фонарем. Серебрилась его седина, силуэт был вписан в ломаный чертеж древесных веток. Во всем этом была тревога.

– Я почитаю, – замороженно глядя на этот тревожный чертеж, сказала Лера. – А ты поезжай домой, Мить, а? Поспи все-таки.

– Поедем вместе?

Вопросительная интонация в его голосе показалась ей настороженной.

– Конечно, – поспешно ответила она, хотя минуту назад вовсе не собиралась домой. С чего бы? У Мити-то репетиция окончена и спектаклей по понедельникам нет, а у нее понедельник обычный рабочий день.

Но отчего эта поспешность? Почему ей требуется усилие для того, что всегда получалось само собою, и тревога ее больше не унимается, когда она видит Митю?

– Я привез вино, – сказал он. – Мозельское, ты любишь. Еда есть или закажем?

– Есть, конечно, есть, – с той же поспешностью ответила Лера. – Роза эчпочмаки собиралась сделать. Только они к мозельскому не очень.

– Ничего, сойдет.

Он сделал шаг от окна, вырвался из тревожного росчерка веток. Лера погасила свет, и они вышли из кабинета.

Глава 2

«И подушка ее горяча, и короток томительный сон...»

Эти слова замерцали в ее сознании прежде, чем она проснулась. Потом мерцание сгустилось в нечто внятное, и Лера поняла, что подушка, на которой она лежит, действительно горячая, потому что в комнате жарко, и что слова, которые Митя когда-то напевал по утрам, вспомнились потому, что она слышит едва различимый звук его скрипки. Даже не звук слышит, а чувствует колебание в матрасных пружинах.

Если он был дома, то начинал заниматься, когда она еще спала. Впрочем, и не дома тоже – Митя всегда вставал рано и начинал день со скрипки. Однажды сказал, что это должно казаться ей однообразным, и она обиделась. Ей не казались однообразными его занятия, хотя она ничего в них не понимала и по-прежнему, как двадцать лет назад, могла распознать на слух только самое простое, что и все распознают – Сороковую симфонию Моцарта, например, или Шестую Чайковского, да и то не с любого места. Лера знала о своей музыкальной бездарности, но Митину скрипку могла слушать бесконечно, даже если бы он стал играть «Чижика-пыжика».

Утро, отзвуки его скрипки в ее теле, раздвинутые шторы, и двор как ладонь, и окна в доме напротив знакомы как собственные пальцы, и даже холод, вливающийся через приоткрытую оконную створку, кажется знакомым тоже.

Окно маминой квартиры, в которой жила теперь Аленка, смотрело через двор прямо в окна Гладышевых и тоже было приоткрыто. Значит, Аленка дома. Хотя ничего это не значит вообще-то. Могла и уйти с утра или даже со вчерашнего вечера, а окно оставить как есть; штормовые предупреждения – последнее, к чему она склонна прислушиваться.

В доме напротив прошло все Лерино детство, вся ее юность, из него всматривалась она в окна Митиной квартиры – не осветятся ли изнутри шторы, не вернулся ли он из бесконечного своего странствия по белу свету?

Какую огромную они прожили жизнь!..

Лера поежилась. Итоговые мысли не очень-то своевременны даже для шестого десятка. Она открыла окно нараспашку, посмотрела вниз. Двор, образованный старинными доходными домами, в детстве был для нее отдельным миром, в котором умещалось все, что нужно человеку для жизни – друзья, приключения, тайны, обыденность, счастье и обещание счастья. Мир в целом потускнел в ее глазах за прошедшие после детства годы, но двор – ни чуточки. Арка, которая вела в него с Неглинной, была теперь забрана коваными воротами, и раздрай внешнего мира во двор поэтому не проникал, чему Лера была очень рада. На пресловутом шестом десятке внешний мир уже хочется не познавать, а дозировать.

«Мы гуляли по Неглинной, заходили на бульвар, нам купили синий-синий, презеленый красный шар».

Да, так все когда-то и было. Сохраним же эти воспоминания в их нетронутой прелести. Лера закрыла окно.

В кухне звуки скрипки не только чувствовались, но и были слышны из-за двери кабинета. Готовя завтрак, она даже угадала, что Митя играет – Моцарта. То есть не угадала, конечно, а просто вспомнила, что он играл это в Берлине. Или в Нью-Йорке? Нет, там он не играл, а «Героической симфонией» Бетховена дирижировал.

«Мне надо ездить с ним, – подумала Лера. – И знать бы не знала тревоги этой дурацкой».

То, что она называла дурацкой тревогой, возможно, следовало бы назвать паническими атаками, но поскольку причины их были рациональны, Лера не придавала им значения. Если тебе постоянно приходится преодолевать трудности, если ты боишься, что в один прекрасный день не сумеешь их преодолеть, если от этого впадаешь в панику, не можешь уснуть и тебе

кажется, что сердце твое сжимает черная-черная рука, то не стоит воспринимать это более серьезно, чем ты воспринимал подобные страхи в спальне детского сада, с которым выезжал в пять лет на дачу, и уж точно не стоит кому бы то ни было на свои страхи жаловаться. Утро настанет, солнце заглянет в окно, и черная-черная рука делается тем, чем является – фантомом твоего воображения, не более.

А ездить с Митей повсюду... Они знали друг друга с детства, и с концертными выступлениями Митя ездил с детства, и никогда, хоть и по разным причинам, не было возможно, чтобы Лера ездила с ним каждый раз. То есть детские-то годы не стоило в этом смысле вспоминать – у каждого из них жизнь была тогда своя. Но и когда жизнь у них стала общая, ничего в смысле поездок не изменилось, потому что в то же самое время общим стал Ливневский театр, и обязанности каждого по отношению к нему и друг к другу требовали отдельности, житейской разделенности – такой вот парадокс. Если бы Митя занимался повседневными делами театра, то о своей музыкальной жизни, жестко расписанной по часам и по странам, ему пришлось бы забыть. А если бы Лера ездила с ним вместе по этим часам и странам, то им обоим пришлось бы забыть о Ливневском театре, потому что его просто не стало бы, и очень скоро.

Так что предаваться бессмысленным размышлениям не стоит, тем более что за двадцать лет ко всему привыкаешь, а уж к собственному образу жизни привыкаешь точно, иначе он был бы у тебя другим.

Звуки затихли, и через минуту Митя вошел в кухню. Лера включила соковыжималку и поцеловала его уже под электрический шум. Завтрак у них всегда был одинаковый, неизменный, как скрипка по утрам: яйца всмятку, ветчина, сыр, овсянка, мед, сок, кофе. Митя умел не искать разнообразия ни в чем внешнем. Лера этого не умела, но еда не была той сферой, в которой она стала бы искать разнообразия.

– Что сегодня делаешь? – спросил Митя, когда соковыжималка выключилась.

– Ничего особенного. – Она пожала плечами. – Еду в Ливнево. Поедем вместе?

– Я – позже. Должен оркестровку доделать.

Лера должна была доделать крышу над Зеленым театром – ливневским парковым павильоном, в котором летом давались концерты. То есть не лично она должна была ее доделывать, конечно, но осознание себя завхозом пришло ей вчера в голову не совсем случайно: три дня назад ей пришлось расстаться с подрядчиком, и вовремя она это сделала, то есть вовремя удалось остановить его убогие махинации со стройматериалами. Результатом ее предусмотрительности стало то, что окончанием ремонта Зеленого театра, то есть как раз крышей, ей теперь придется заниматься лично. Однако такой результат все-таки лучше, чем любой другой из уже намечавшихся.

Знать это в подробностях Мите было не обязательно. Не то чтобы Лера считала, что ее муж не от мира сего – иногда, а в последнее время все чаще, ей казалось, что это было бы совсем не плохо, – просто в его знании про крышу не было практической необходимости.

Она разложила овсянку по тарелкам, и, пока Митя разливал сок по стаканам, включила айпад. Выпрыгнула новость: в Новосибирской области раздавили бульдозером три тонны польских яблок. Новостью это, впрочем, называть уже не стоило. Три дня назад Лера зашла в бухгалтерию и услышала, как женщины рассуждают, что раздавленный бульдозерами литовский сыр лучше было бы раздать по детским домам. Ей до сих пор стыдно было вспоминать, как она орала главбуху Лилии Петровне, что говорить о лучших вариантах могут в таком положении только рабы.

Но разговаривать об этом с Митей не хотелось. Не только из-за стыда за ту свою вспышку – главным образом ей не хотелось, чтобы он вообще об этом думал. К чему приведут его мысли?

Лера открыла итальянский сайт музыкальных новостей, но настроения читать не было. На работе потом почитает. Она следила, кто, что и где поставил в музыкальных театрах, и осо-

бенно внимательно за тем, какая на эти постановки была реакция – публики, критики, музыкантов. Это было важно, потому что как раз за реакцией, в том числе и на свою работу, Митя следил не пристально, вернее, если не было существенных мнений, то не следил вовсе. А Лера следила за всем, и от нее он об этом узнавал.

Она закрыла айпад и посмотрела на Митю. Он держал в руке стакан с соком и думал. С годами он стал похож на музыканта с картины Леонардо да Винчи. Странно, что именно с годами, леонардовский музыкант ведь молод.

Когда Митя дирижировал в Ла Скала и Лера приехала к нему, то специально пошла в Пинакотеку, чтобы проверить свое впечатление. Да, сходство действительно оказалось разительное, и черт лица, и, главное, взгляда. Сердце замирало от его неразгадываемости, охватывали страх и счастье, и непонятно было, что сильнее, и казалось, что музыкант видит бездну, и пугала ускользающая красота его лица. Лера долго стояла перед портретом, не обращая внимания на толпящихся людей, но Мите об этом не рассказала. Как раз из-за страха, который не могла рационально объяснить даже себе самой.

О чем он думает, что слышит, глядя вот так куда-то? И куда?

– Мить... – позвала она. – Ты есть будешь?..

– Да.

Он быстро съел кашу, снял с плиты блестящий итальянский кофейник, налил Лере и себе кофе. Сходство с леонардовским музыкантом не исчезло, но Лера перестала об этом думать.

Когда она шла через ливневский парк, ей казалось, что падающие с деревьев капли заключают в себе музыку, но она никогда ее не услышит.

Потом день ее покатила обычной колеей, и она погрузилась в дела, за которыми не было места тревоге.

Глава 3

Работа Ливневского театра была устроена сложным образом. Шли собственные спектакли и наравне с ними спектакли резидентов – сторонних трупп, которые Митя приглашал с их собственными постановками. Но оркестр при этом всегда был его.

Многомудрый администратор Коля Мингалев с важным видом называл такое устройство цветущей сложностью, но и хлопот с этим цветением было немало.

– Хоть бы раз Дмитрий Сергеевич кого попроще пригласил! – заметил однажды Коля. – А то этим, которых он зовет, вечно инфраструктуру Гранд Опера подай.

Лере тоже хотелось, чтобы в Ливневский театр можно было приглашать любую труппу. Но и без оглядки на это она требовала, чтобы ни один человек в театре не считал, будто от него ничего не зависит. При воспоминании о том, что произошло, когда спустя рукава сработал однажды монтировщик декораций и гибели артистов удалось избежать только чудом, ее до сих пор бросало в холодный пот. За сценическим оборудованием она следила, кажется, не менее пристально, чем инженер. Впрочем, за посещаемостью и продажами билетов следила тоже, и за работой попечительского совета, и за нормативной базой – за ней отдельно, каждый ее рабочий день начинался с изучения новых регулирующих документов, согласно которым вместе с главбухом, юристом и администратором приходилось изобретать новые способы существования в том мертвеющем мире, который все более отчетливо вырисовывался вокруг.

Всем этим Лера и занялась сразу после крыши Зеленого театра. Это было привычно и унимало тревогу, которая все больше раздражала ее, потому что она понимала, что природа этой тревоги – всего лишь гормоны, и сумятица их связана только с возрастом, никаких других причин нет.

Она позвонила Розе, та сообщила, что Дмитрий Сергеевич уже уехал в театр, что к Аленке она заходила, обедать ее звала, но та не пошла, а Дмитрий Сергеевич, да, поел, но только бульон куриный.

– Он сегодня спектаклем дирижирует, – сказала Лера.

– Я и говорю, что за еда для него, бульон. – По телефону было слышно, что Роза поморщилась. – Кошке и то мало. А он же вечером, считай, вагоны разгружать будет, силы нужны.

Лера улыбнулась. Роза вела их с Митей хозяйство все двадцать лет, которые это хозяйство существовало, но до сих пор стремилась накормить Митю посытнее, хотя давно уж можно было понять, что это не нужно. Правда, Лера и сама не очень понимала, из какого источника питается его энергия – не мистическая какая-нибудь, а просто физическая энергия, физиология, – так что странно было бы требовать такого понимания от Розы с ее простым и прагматичным взглядом на людей и явления.

– А Лену приструни, – добавила Роза. – Что за моду взяла не обедать? И нервная стала, и без шапки пошла, я в окно видела.

Аленку она вырастила не в меньшей мере, чем Лера, а то и в большей, может, потому что была со своей обожаемой девочкой постоянно, не отвлекаясь ни на театр, ни на гастрольные поездки, ни на мужа. Мужчин Роза презирала, Митя был абсолютным в этом смысле исключением, к нему она относилась как к богу.

– Я ей скажу, – кивнула Лера.

И как в воду глядела: она еще разговаривала с Розой, когда дверь открылась, Аленка вошла в кабинет и сказала с порога:

– Я должна уйти.

– Куда? – удивилась Лера.

Сообщать ей о своих передвижениях дочь вообще-то была не обязана ни из родственных, ни из служебных соображений. Она не состояла в штате театра, Митя привлекал ее как пианиста не часто, в основном у нее была собственная исполнительская жизнь.

– Никуда. – Аленка дернула плечом, локон зацепился за пуговицу на блузке, она поморщилась, стала его отцеплять, но только еще больше запутала. – В никуда! – сердито воскликнула она.

– Что за глупости? – рассердилась и Лера. – Витя Витей, но надо же и в руках себя держать! Работа-то при чем? Митя, конечно, сам с тобой поговорит, но и я считаю...

– Не надо ему со мной говорить!

В ее голосе зазвенели злые слезы. Лера опешила. Никогда Аленка не говорила о Мите таким тоном. Если для Розы он был богом по непонятной причине, то в Аленкином случае причина как раз была очень понятна: какой была бы ее жизнь, если бы Митя не разглядел в ней музыкальные способности еще в детстве и не направил бы их правильным образом?

– Ты что, Лена? – растерянно проговорила Лера.

– То! Всё, что со мной теперь... – Она снова схватилась за локон, с силой выдернула его из-под пуговицы, проговорила лихорадочно: – Витя!.. Да при чем здесь это вообще?!

Слезы брызнули у нее из глаз. Именно брызнули – никогда Лера такого не видела. Как будто боль от запутавшихся волос оказалась невыносимой.

Но дело не в этом, конечно.

– Закрой дверь, пожалуйста, – стараясь, чтобы в голосе не слышалось ни отзвука беспокойства, сказала Лера.

– А тебя, как всегда, только видимость волнует! Не переживай, там никого нет.

И по отношению к ней никогда не было у дочери такого раздражения. Или отчаяния, или горя?.. Лера подошла к двери и прикрыла ее, мельком отметив, что помощницы Ани в приемной действительно нет.

– Сядь, – сказала Лера. – И объясни, пожалуйста, что случилось. Внятно объясни. Чтобы даже я поняла, – не удержавшись от иронического тона, добавила она.

Аленка на ее тон немедленно отреагировала:

– В твоём понимании не случилось ничего.

– А в твоём?

Лера на ее реакцию отвечать не стала.

Аленка молчала. Ее молчание постепенно заполняло все пространство кабинета и Леру изнутри заполняло тоже. Непонятно было, что делать с этим тягостным молчанием.

– Я – посредственность, – наконец проговорила Аленка. – Случилось, ты говоришь? Это не случилось. Это всегда так было. Это моя жизнь. Только это, больше ничего. Посредственность. А не Витенька, не отношения выстраивать, вся вот эта ерунда, которая так тебя волнует.

Лера едва сдержала вздох облегчения. Вон что, оказывается! Обычные сетования человека, занятого таким неочевидным делом, как музыка. Единственным, от кого она никогда ничего подобного не слышала, был Митя, а от всех других людей, окружавших ее в театре, lamentации такого рода ей приходилось выслушивать с постоянством, достойным лучшего применения.

– И почему же ты именно сейчас так решила? – спросила она. – Раз, говоришь, это всегда было.

– Когда-нибудь перестаешь себе врать. Вот, перестала.

Лера вздрогнула. Все-таки дочь похожа на нее, хотя внешнего сходства никакого. Думает так же и даже говорит теми же словами.

Жалость кольнула ее острым лезвием.

– Лена, – сказала она, – ну неужели вам в консерватории этого не объясняли? Еще в ЦМШ должны были, по-моему. Через это же все музыканты проходят, это нормально, сомневаться в себе, и ты...

– Не говори пошлостей, пожалуйста. – Аленка поморщилась. – Я их слышала тысячу раз. И от Егорова, и... Не надо мне больше ваших разговоров! У меня есть глаза, я сама все вижу.

– Что же ты, интересно, видишь?

Жалость к дочери сменилась раздражением на нее. Какой стандартный эгоцентризм! И кто кого должен в пошлости упрекать?

– Таких пианистов, как я, тысячи, – сказала Аленка. – Все конкурсы нами переполнены. А при этом...

– Это нормально, – перебила ее Лера. – Без конкуренции жизнь остановилась бы.

– А кто решил, что я должна посвятить свою жизнь конкуренции посредственностей? Она у меня одна, жизнь, между прочим! Скажешь, надо работать, и тогда?.. Что – тогда? – воскликнула Аленка. – Да ничего тогда! Буду чуть быстрее пальчиками перебирать. Китайцев в этом все равно не переплюнешь, и ни к чему. Не в скорости же дело!

– А в чем? – спросила Лера.

Ей в самом деле было это интересно.

– Да не знаю я, как это назвать. – Аленка раздраженно дернула плечом. – Но у меня этого нет точно. И Митя это прекрасно знал. Не мог не понимать! Так зачем же возвращал во мне иллюзии? Зачем он меня всем этим обманул?! Я обычный человек, понимаешь? Не надо было мне соваться туда, где необычные нужны. Я бы и не сунулась, если бы не он. А из-за него – сунулась. И ничего не достигла, а все в себе разрушила!

– Да что же ты разрушила, Лена? – Лера в возмущении ухватила за эти ее слова. – Даже если ты права насчет твоих способностей – даже если! – все равно у тебя миллион других возможностей!

– Никаких у меня нет возможностей. – Аленка вдруг разом как-то поникла, злость сменилась в ее голосе тусклым безразличием. – Я посредственность. Еще в шестнадцать лет должна была это понять. А я не поняла и себя разрушила пустыми стремлениями. К тому, чего никогда не достигну. И теперь мне все безразлично, и все безразличны. И сама я себе не нужна. Скажи, что в заявлении написать, чтобы меня заменили.

Она кивнула на пробковую доску, к которой были приколоты разноцветные листочки. После того как Митя давал Лере план новых спектаклей на весь сезон с датами премьер и начала репетиций, она вывешивала на этой доске списки всех постановочных групп и задействованных актеров. Списки эти, конечно, и в компьютер были внесены, но она предпочитала видеть их перед собой.

Аленка вышла из кабинета. Лера несколько секунд молча стояла, прислонившись к оконному косяку, потом бросилась к двери.

«Что ей в голову может взбрести?» – мелькнуло в голове.

Она стрелой пролетела через приемную и догнала Аленку на лестнице.

– Мама, – на мгновенье приостановившись, но не оборачиваясь, сказала та, – не устраивай хэппенинг на пустом месте. Я не собираюсь выбрасываться из окна. Мне ничего не нужно. Занимайся своими делами.

Аленка пошла по лестнице вниз. Лера – обратно в кабинет. А что ей оставалось?

Она чувствовала усталость. Нет, не усталость – что-то бессмысленное переполняло ее, тягостное и потому тяжелое.

«Что я делаю, чем занимаюсь? – с глухой, разъедающей тоской подумала она. – Почему я должна разбираться в том, в чем ничего не понимаю? Я научилась этим... Даже не управлять – жонглировать, да, не более того. Но по сути все это закрыто для меня по-прежнему, и это меня разрушает. Что это за мир, кто в нем посредственность, кто нет, из чего он вообще состоит...

Как Аленка сказала? Не надо было мне соваться туда, где необычные нужны, а я сунулась и все в себе разрушила. Это обо мне. Обо мне».

Помощницы Ани по-прежнему не было на месте, но приемная оказалась не пуста.

– Здравствуйте, Валерия Викторовна.

Лера вздрогнула от неожиданности и тут же вспомнила, что должно было произойти как раз в то время, когда Аленка ворвалась к ней со своими упреками. Встреча у нее была назначена, вот что, очень важная встреча, драгоценная, можно сказать. Она этой встречи искала, она к ней готовилась, и вот теперь вынуждена будет провести ее в разобранном, раздрызганном состоянии.

– Здравствуйте, Вадим Алексеевич, – сказала она. – Извините, что вас не встретили.

Запыхавшаяся Аня вбежала в приемную как раз на этих словах.

– Это меня извините! – воскликнула она. – Дочка ногу сломала, муж позвонил, я и выскочила в парк ими поруководить. Чтобы здесь не орать.

Аня работала в Ливневе всего два месяца и не разобралась еще в здешних обыкновениях.

– А зачем вернулась? – спросила Лера. – Ехала бы к дочке.

– Ну...

Объяснение было написано на прозрачном, как засушенный лунник, Анином лице. Не хочется потерять работу, где такую найдешь, зарплата приличная, начальство не сволочное, коллектив хороший, и вообще – театр.

– Выпьете кофе, чаю? – спросила Лера. – Аня нам сделает и пойдет дочку лечить.

Сама она лучше выпила бы сейчас коньяку, но как-то неловко с ходу предлагать это человеку, которого надеешься привлечь в попечительский совет театра.

– А коньяку случайно не найдется? – спросил этот человек. – Имел глупость прогуляться по парку и ноги промочил.

В доказательство своих слов он кивнул на лужицу, натекающую на пол с его узких итальянских туфель.

– Почему же глупость? – Лера улыбнулась, но собрать себя в нечто цельное все-таки еще не сумела, поэтому улыбка вышла, наверное, жалкая. – У нас прекрасный парк. Восемнадцатого века.

– Знаю, – кивнул Вадим Алексеевич Клодт. – Потому и захотелось пройтись. Читал про него.

Выпивание коньяка в Анином содействии не нуждалось, и, еще раз напомнив, что та на сегодня свободна, Лера увела Клодта к себе в кабинет.

– Извините, – повторила она, доставая бутылку и бокалы из узкого шкафчика, который называла погребцом. – Долго вам пришлось ожидать?

– Минут пять, – ответил Клодт. И, предупреждая очередные Лерины извинения, добавил: – Я раньше приехал, чем договаривались.

То есть во время разговора с Аленкой он уже, скорее всего, был в приемной и разговор этот дурацкий, возможно, слышал. Это должно было Лере быть неприятно. Но не было.

Удивившись отсутствию неловкости перед незнакомым человеком за то, что не обязательно было знать даже и близкому знакомому, она присмотрелась к нему повнимательнее. Впрочем, это и в любом случае надо было бы сделать. Попечительский совет всегда был важен для театра, а теперь каждый из входящих в него людей стал на весь золота в прямом и переносном смысле.

Лера помнила, какая оторопь охватила ее, когда четыре года назад совет начали покидать люди, из которых он состоял на протяжении двадцати лет, как металась она от одного к другому, как они один за другим переставали отвечать на ее звонки... Она поскорее отогнала некстати всплывшее воспоминание и взяла бокал, в который Клодт уже налил коньяк.

– За знакомство, Валерия Викторовна.

У него, в противоположность режиссеру Пестереву, глаза были поставлены широко, что почему-то считалось признаком одаренности. Лера не помнила, где прочитала об этом, и до сих пор у нее не было случая проверить, так это или нет.

«А вот теперь может и будет», – подумала она.

Эта ли мысль, сами ли широко поставленные глаза Клодта так успокоили ее, или коньяк, может, но она повеселела.

– Согрелся, – сообщил Вадим Алексеевич. – Что ж, к делу? Хочу вам сообщить, что для себя я решение уже принял. Если вы во мне заинтересованы, а судя по тому, что мы с вами здесь сидим и коньяк распиваем, это именно так, готов обсудить подробности моего участия в жизни вашего театра.

– Очень рада, Вадим Алексеевич. – Лера улыбнулась самой обаятельной улыбкой, на какую была способна. – Но участия в жизни театра со стороны членов попечительского совета не предусмотрено. Только взнос. С нашей стороны – ваш логотип на всех наших материалах. Ну и добрые чувства, и приглашение на все наши спектакли, конечно.

Все это было обозначено в уставе театра, Клодт не мог этого не выяснить, и напоминать ему об этом было, может, не нужно. Но Леру насторожила формулировка «участие в жизни театра», и она решила расставить все по местам еще до начала сотрудничества. Даже если из-за такой ее предусмотрительности и сотрудничества никакого не получится.

Она смотрела на него, ожидая реакции, и реакция тут же последовала – Клодт расхохотался.

– Да... – проговорил он сквозь смех. – Женька мне так сразу и сказал: Лера с тобой церемониться не будет, даже не рассчитывай. Знает он вас, выходит.

– Конечно., – кивнула она. – Странно было бы, если б не знал.

Женя Стрепет, который и устроил ее знакомство с Клодтом, учился с Лерой в одном классе и жил в одном дворе. Ее соседка и лучшая подружка Зоська Михальцова считала, что Женька в детстве был ужасно вредный, но Лера этого мнения не разделяла. В школе она была ему благодарна главным образом за то, что давал списывать алгебру, но и в более осмысленные годы причины для благодарности не исчезли: Стрепет принял в свой холдинг маленькую туристическую фирму, с которой когда-то началась ее жизнь в деловом мире, и если бы не это обстоятельство, никогда бы Лере не выжить в бурях первоначального накопления.

Женька жил теперь в Лондоне, навещался в Москву только по неотложной необходимости, и встречи с ним в основном случались у Леры в Европе. Не так часто, как в те годы, когда вся их дворовая компания собиралась вечерами на бульваре посреди Неглинной, и все пили портвейн, передавая друг другу бутылку, слушали, как Митя поет под гитару простые песенки, самозабвенно Лерой любимые – про Кейптаунский порт, в который ворвался теплоход, объятый серебром прожекторов, и про то, что сигарет нет-нет, и монет-нет-нет, и кларнет-нет-нет не звучит, и сердце молчит...

Все это пронеслось в голове мгновенно, одним сияющим воспоминанием, и Лера улыбнулась. На этот раз без всякого старания придать своей улыбке побольше обаяния.

– Вы чудесно улыбаетесь, Лера, – сказал Клодт. – Извините, что так фамильярно вас назвал. Случайно за Женей повторил.

– Ничего, пожалуйста. – Она улыбнулась снова. Мысли ее пришли наконец в равновесие. – Ну что, рассказывать про наши планы?

– Давайте, – кивнул он. – Нравится мне у вас.

– Мы вас на бал пригласим, – пообещала Лера; ей было неловко за резкое начало разговора. – У нас знаете какой в мае бал бывает!

– А то! Про ваш бал все знают. Танцор из меня, правда, никакой, но до мая потренируюсь.

Он посмотрел репертуарный план, спросил, что за опера «Маддалена», поинтересовался, где заказывают декорации, задал еще несколько вопросов, видно было, что главным образом из любопытства, выпили за удачу...

Лера предложила проводить его до машины, но Клодт отказался. Она смотрела в окно, как он идет по аллее и листья летят за ним вслед веселым пестрым вихрем.

«Какие глупости! – так же весело вихрилось при этом у нее в голове. – И что мне вдруг вздумалось тосковать?».

– Все будет хорошо, – проговорила она.

И эти слова, и звук собственного голоса добавили уверенности тоже. Мир приобрел ясную структуру, события и явления разместились в простом порядке, и сознание зыбкости собственного существования действительно стало казаться глупостью и пустым вымыслом.

Глава 4

Как и следовало ожидать, все у Аленки наладилось.

Произошло это просто, как явление бога из машины. Роль бога сыграл Аленкин отец, то есть кровный ее отец, существование которого давным-давно уже находилось в слепом пятне Лериного сознания.

Костя приехал в Москву на конференцию, с Лерой встречаться не стал, а с Аленкой встретился; разговор с ним и оказал на нее гармонизирующее воздействие. Это было удивительно, потому что со своей дочерью он, можно сказать, и знаком почти не был. Но, наверное, именно явление незнакомого человека и было ей сейчас необходимо, как с той же гармонизирующей целью бывает необходим случайный попутчик, разговор с которым каким-то загадочным образом развеивает беспричинную ночную дорожную тревогу.

– Может, Костик твой бывший и сто раз талантливый, – говорила когда-то Зоська, – но это с улитками своими только. А так он бледная немочь, больше ничего, и половина мужчин такие, а вторая половина – алкоголики.

Зоськины феминистские воззрения были известны, так что спорить с ней Лера не собиралась. Но и Костю Веденева бледной немочью считать не собиралась тоже. За что бы? За то, что с неожиданным-негаданным явлением дикого рынка не бросил аспирантуру, как она бросила, не стал ездить вместе с ней в Турцию за лифчиками и торговать потом этими лифчиками в Лужниках? Еще бы не хватало! Лера прекрасно понимала, что если изучение ею итальянского Возрождения было только результатом живости ее ума и сильных впечатлений от прочитанных в детстве книг, то Костины эксперименты в Институте высшей нервной деятельности – с теми самыми улитками, о которых Зоська отзывалась так пренебрежительно, – были делом его жизни. И она лучше бы с голоду умерла, чем заставила близкого человека этим пожертвовать. Другое дело, что близкий человек решил перестать быть близким и банальным образом ушел к глядящей ему в рот лаборантке как раз с началом Лериной беременности, и рождение Аленки не вызвало у него ни малейшего энтузиазма... Но не за рукав же его было хватать. Да и вообще, когда все это происходило! В другой жизни, не о чем и вспоминать.

Костя, кстати, относился именно к мужчинам того типа, в котором, согласно Зоськиной классификации, бледная немочь должна была бы совмещаться с алкоголизмом. Однако он уберется от обоих этих вариантов развития судьбы. То есть не сам уберется – он был склонен плыть по течению. Но как раз течение и вынесло его в Америку.

– Это, Лерочка, знаешь, без всякого моего участия как-то вышло, – объяснял Костя, хотя Лера его об этом не спрашивала. – Владуку три года, Люся снова беременна, денег нет и не предвидится, а тут стажировку предлагают в Сан-Франциско, кто бы не поехал? Я и поехал.

Лера помнила, каких усилий стоило лаборантке Люсе добиться, чтобы он перевез к себе в США семью. Она даже Лере за чем-то звонила, хотя та о Костиной жизни к тому времени понятия не имела и уж точно не могла оказать на него никакого влияния. Как бы там ни было, Костя работал теперь в Университете Калифорнии, занимался биотехнологиями, и благополучие его было незыблемо, как вся мощь американской науки. С Люсей он давно развелся, сыновей учил в университетах Лиги Плюща, жениться больше не собирался, и по его признанию единственной женщиной, с которой он общался с удовольствием, была Лера. Общение с ней, впрочем, происходило исключительно по скайпу, и то от случая к случаю, так что Зоська, может, не так уж неправа была в своей оценке Кости Веденева.

Почему в этот приезд в Москву он вздумал встретиться со своей старшей дочерью, которую видел лет двадцать назад, и то мельком, было так же никому не ведомо, как и любые другие Костины поступки в зыбкой и, судя по всему, пугающей его сфере личной жизни. Но встреча

произошла, и Аленка вернулась после нее в таком веселом настроении, что даже забежала к Лере на ночь глядя, так ей не терпелось сообщить свои впечатления.

– Он ужасно смешной! – сказала она. – Я на него, конечно, совершенно не похожа.

– Ты на него как раз очень похожа, – заметила Лера.

– Локоны не в счет, – махнула рукой Аленка. – Ангельские глазки тоже. У меня это обманчивые признаки, а у него нет. Он в самом деле бесхитростное существо. В смысле, цельная личность. Ясная, как белый день. Мне такого образца перед собой ужасно не хватало, – добавила она.

«Митя тоже цельная личность», – хотела возразить Лера.

Но промолчала. Тьма Митиных глаз в тени прямых ресниц представилась ей. Меньше всего эта сумрачная тень связывалась с ясностью белого дня. Да и в самом сравнении этих двух Аленкиных отцов было бы что-то неловкое, почти оскорбительное.

– В общем, Константин Иванович примирил меня с действительностью, – заключила ее непредсказуемая дочь.

– Это чем же? – усмеялась Лера.

Про себя она однако же обрадовалась. Да хоть чем, лишь бы примирил!

– А он такой... – Аленка неопределенно покрутила пальцем над головой, подыскивая объяснение. – Дюжинный, вот. Знаешь такое слово?

– Конечно, – улыбнулась Лера.

– Совсем не конечно. Я его только от Мити услышала. В общем, мой биологический отец – человек на дважды два. И ничего, прекрасно себя чувствует. Есть надежда, что и я со временем привыкну. Буду концерттировать в провинции, участвовать в третьеразрядных конкурсах и радоваться жизни. Даже замуж выйду, может. За Витеньку. Будем с ним вместе четвертые места занимать.

– Попробуй еще займи хотя бы пятое, – хмыкнула Лера. – Желающих и без вас с Егоровым хватает. Да и замуж – это еще его спросить надо.

– Вот только его не хватало спрашивать! – Аленкин смех зазвенел обычным ее серебряным колокольчиком. – Пусть спасибо скажет, что я с ним сплю.

«Что из нее выросло?» – подумала Лера.

Не в смысле сексуальной раскрепощенности, а в смысле всепоглощающей самовлюбленности. И ничего ведь с этим уже не поделаешь. А может, и никогда ничего поделаться нельзя было с той темной средой, в которой, как корни растений под землей, сплетаются неведомые гены.

Однако Аленкино умиротворение подействовало и на Леру тоже. Или, может, просто положительные результаты анализов? Она вспомнила знаменитую формулу: на сложные вопросы «что со мной не так, в чем причина, кто виноват?» почти наверняка найдутся простые ответы – либо зависть, либо деньги, либо проверь гормоны. Завидовать ей было некому, к зависти в свой адрес она относилась как к явлению природы, деньги с той поры, когда приходилось торговать лифчиками на рынке – за давностью лет казалось уже, что это было и не с ней, – не являлись сколько-нибудь значимой проблемой ее жизни... Оставались только гормоны, их она и проверила. Результаты анализов, пришедшие из швейцарской клиники, оказались прекрасные, ни малейшей разбалансированности в ее организме не обнаружилось.

– Молода ты, подруга, и полна энергии, как в двадцать лет, – прокомментировала Зоська. – Чему я, кстати, не удивляюсь.

– Это почему же ты не удивляешься? – спросила Лера.

Они сидели у Зоськи на чердаке. То есть когда-то это был чердак старого доходного дома на Неглинной, в котором кроткой дворничихе Любе Михальцовой дали служебную жилплощадь – не комнату даже, а койко-место. Кроме нее на чердаке жил еще слесарь, тихий пьяница, а потом появилась шестилетняя Зося.

Звали ее на самом деле Жозефиной. Неизвестно, почему Любе пришло в голову назвать своего единственного ребенка таким странным именем, даже в Москве странным, не говоря уж о городке под названием Обоянь, откуда она привезла девочку, как только немного обустроила жильё.

Когда Жозефина со скакалкой в руке впервые вышла во двор и сообщила всем, как ее зовут, в ответ раздался такой смех, что она покраснела и слезы выступили у нее на глазах.

– Жозефина?! Вот это да! – громче всех хохотал Женька Стрепет. – Что ж ты думаешь, так и будем звать? Мы тебе другое имя придумаем!

И они начали наперебой придумывать.

– Жозя!

– Физя!

– Тогда уж лучше просто Жопа!

Это была обычная жестокость восьми-девятилетних детей, с которой мало кто не сталкивался в детстве. Но для маленькой Жозефины все это было настоящей трагедией. Она бросила скакалку и, в голос разрыдавшись, убежала домой.

– Жозя! Физя! – несло ей вслед.

Все это повторялось с завидным упорством, когда бы Жозефина ни вышла во двор. Неизвестно, почему так травили эту маленькую беленькую девочку из-за такой ерунды, как необычное имя, но дети уже не могли остановиться. Ко всему добавлялось еще и то, что Жозефина была «из деревни», и это давало дополнительный повод к насмешкам.

Трудно сказать, чем кончилась бы эта травля, длившаяся несколько недель, если бы не Митя.

Он появлялся во дворе редко – у него не много времени было для прогулок, – но метко. И неудивительно – он был душой двора, а это ведь и у каждого отдельного человека так: душа не может же быть видна постоянно, когда, например, человек жует свой повседневный бутерброд или мчит за утренним автобусом. Но уж если она у него есть, то никуда и не денется.

Митя возвращался с занятий, держа в руке футляр со скрипкой, и вполне мог не заметить Жозефину, спрятавшуюся под покатой подвальной крышей возле его подъезда. Тем более что уже смеркалось, а после своих уроков Митя вообще мало что замечал. Но он все-таки услышал шмыганье и тихое иканье, доносившееся из-под крыши, тут же заглянул туда и извлек на белый свет Жозефину.

– Чего режем? – спросил Митя, присев перед ней на корточки и с усмешкой вглядываясь в опухшее личико.

Ему было в это время четырнадцать, а он уже заканчивал Центральную музыкальную школу и, конечно, имел право насмешливо относиться к сопливой мелочи.

– Ничего-о! – прорыдала Жозефина.

– Ничего – не бывает. Скажи, скажи, может, я тоже с тобой пореву! Ну, что молчишь?

Жозефина подняла на взрослого мальчика голубые зареванные глаза и, проникнувшись к нему неожиданным доверием, сообщила:

– У меня плохое имя!

– Плохое? – удивился Митя. – Думаешь, бывают плохие имена? И как же тебя зовут?

– Жо... Жозефина... – выговорила она с опаской.

Митя не выдержал и тоже улыбнулся.

– Да-а, вот это фантазия! Ну и что? Разве ты не можешь жить со своим именем?

– Я могу. – Глаза Жозефины снова стали наливаться слезами. – Я могу, но они же не могут! Они меня дразнят, придумывают другие имена всякие, и к тому же я из деревни.

– Из деревни – ничего, – возразил Митя. – Ломоносов тоже был из деревни. А как тебя мама дома называет?

– Так и называет – Жозефина. Ей нравится.

– А внимания ни на кого не обращать ты разве не можешь, тем более, маме нравится?

Он разговаривал с ней так серьезно, несмотря на то что был совсем взрослый, что Жозефина прониклась к нему полным доверием.

– Не могу, – вздохнула она. – Я бы отсюда насовсем уехала обратно в Обоянь, но бабушка умерла, и мама сказала, что я теперь буду жить здесь с ней всегда.

– Не уезжай в Обоянь, – попросил Митя. – Ты мне нравишься. А им скажи... Скажи, что тебя зовут... Какое-нибудь простое имя... Да, скажи, что тебя зовут Зося, вот и все! Зося красивое имя, по-моему, можно считать его уменьшительным от Жозефины. И заодно можешь сказать, что твоя прабабушка была королева и враги ее сослали в эту Обоянь. Чтобы они заткнулись насчет деревни, если уж тебя это так удручает. А если не заткнутся, можешь сказать, что я их убью. Меня зовут Митя Гладышев, я живу в седьмой квартире, и они меня знают. Поняла, Зося?

И он исчез в темноте подъезда, словно растворился под звон дождевых капель о крышу подвала.

Лера обо всем этом узнала от него позже, в то время она болела свинкой и целый месяц не показывалась во дворе.

Но самое удивительное, что так и получилось, как он сказал! Как только Митя дал ей имя, Зося словно заново появилась в их дворе, и никто, ни один человек, как по мановению волшебной палочки, не обидел ее больше. Ей даже не пришлось говорить про королеву, всем и так понравилось ее новое имя, и ее наконец признали здесь своей.

Жилье Михальцовых находилось прямо над квартирой, в которой Лера жила с мамой. Когда-то на чердаке не было даже телефона, поэтому с важными известиями звонили на Лерин номер, и она вызывала Зоську, стуча по батарее чугунным бюстиком Пушкина. Во время одного из таких разговоров как раз и выяснилось, что та ездит в Турцию за товаром, который потом продает в Лужниках, и Лера решила поехать с ней, и жизнь ее переменилась после этого так же разительно, как жизнь целой страны.

Давно уже и чердак был не чердаком, а, можно считать, пентхаусом, и Зоська была не робкая девчонка с белобрысой тощей косичкой, и рынок в Лужниках забылся напрочь, но все, что происходило тогда, по-прежнему было для Леры значимо.

Только Митя переменил ее жизнь больше, чем те годы. Только он.

– Так почему ты не удивляешься? – повторила Лера.

– Потому что у всех нормальных людей жизнь определяется гормональным фоном, – ответила Зоська. – А у тебя – наоборот.

Она приоткрыла ярко-оранжевый чайник, стоящий на стеклянном кухонном столе, и чихнула от терпкого имбирного запаха. Чайник был сделан в виде апельсина со срезанной верхушкой-крышечкой. Зоська любила всяческие оригинальные штучки и привозила их отовсюду. И не надоедало же ей! Лера давно уже перестала испытывать восторг перед милыми мелочами такого рода, а привозить их домой ей и в голову не приходило. Митя их не замечал, а главное, гладышевская квартира не требовала и даже не допускала появления лишних подробностей. Все здесь находилось в неизменной, давным-давно установившейся гармонии – книги в шкафах, этюды Коровина и Левитана, подаренные авторами Митиному деду, профессору Московской консерватории... Когда-то Лера казалась себе слишком вульгарным пятном на этом строгом фоне. То ощущение давно прошло, но апельсиновый чайник в гладышевской квартире не появился. Все, что она покупала туда, было просто, функционально и могло служить столетиями.

– Как это по-французски называется? – сказала Зоська, наливая Лере чай.

– Что – это? – не поняла она.

– Ну, сущность твоя. Тебе кто-то когда-то сказал, ты смеялась еще.

– А! Force de la nature.

– Ага, – кивнула Зоська. – Сила природы, да. Ты с этим родилась, с этим и помрешь, видимо. Что анализы и подтверждают.

– Оптимистичная ты моя! – засмеялась Лера.

Как бы там ни было, следовало признать беспспорность швейцарских выводов. Организм ее сбалансирован, а значит, то, что она приблизительно называла тревогой, что внушало ей растерянность и почти страх, просто не следует принимать всерьез.

С этой мыслью Лера и поехала вместе с Митей на его рождественский концерт в Баден-Бадене. Накануне он дирижировал Моцарта у себя в Ливневском театре, впереди был новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Ей стоило усилий освободиться на это время от всех дел, и странно было бы портить себе настроение какой-то смутной ерундой.

Лера с детства знала, что Митя талантливый, это знал весь их двор, а потому само собой разумелось, что это знают все, то есть вообще все – весь мир. Она училась, влюблялась, бросала учебу, разворачивала свою жизнь на сто восемьдесят градусов, работала с самозабвением, без которого не могла что-либо делать всерьез, выходила замуж, разводилась, рожала, влюблялась снова или, вернее, впадала в какой-то тяжелый сердечный морок, проходила из-за этого через сокрушительный и опасный распад, тонула в отчаянии – и во время всех этих бурных событий собственной жизни знала, что где-то идет Митина жизнь, в которой он дирижирует в Ла Скала, и играет на скрипке в Альберт-холле, и ставит оперу в Лионе, и гастролирует в Америке. Все это казалось естественным, как его звонки ей со всего света, это просто не могло быть иначе. Их бросило друг к другу так неожиданно, как вообще-то не бывает после делящейся с детства дружбы, и с той минуты мир для Леры сузился – иметь значение стало только то, что связано с Митей. Он вернулся в Москву ради своего театра, потому и ее жизнь надолго ограничилась пространством Ливневского парка. Это пространство оказалось насыщено смыслом так же, как Митина скрипка, как все, к чему он прикасался; выходить за его пределы не хотелось. И только спустя несколько лет, когда театр не просто приобрел физические очертания, то есть была починена крыша и установлена решетка вокруг расчищенного парка, но и репертуар, и труппа пришли к полноценной повседневности, без которой не может существовать театр, – только тогда Митя стал постепенно возвращаться в обычный свой жизненный ритм, в свой мир.

И только тогда Лера по-настоящему осознала, к какому миру он принадлежит.

Это был мир небожителей, она не могла назвать его иначе. И не потому, что там мерцали тусклым золотом театральные ложи и пламенели скрипки Страдивари, но потому, что в нем шла напряженная жизнь самого высокого, самого незаурядного толка. Она была помещена в жесткие рамки размерности, эта жизнь, иначе не мог быть поддерживаем тот ее уровень, который в Лерином понимании соответствовал вершине Эвереста. На этом уровне не то что захватывало дух – там вообще невозможно было дышать обычными, не приспособленными к разреженному воздуху легкими.

Когда она поделилась с Митей этими своими соображениями, тот хохотал так, что выступили слезы.

– Я у тебя, получается, шерпа, – сказал он. – Интересно ты ко мне относишься!

Это было в первые их общие годы, относилась она к Мите тогда как к метеориту, ворвавшемуся в ее жизнь, поэтому сравнение с шерпой не показалось ей подходящим. И даже когда прошел острый сердечный трепет, в котором невозможно жить изо дня в день, его эверестовый мир по-прежнему вызывал у Леры что-то вроде растерянности: неужели он существует?

Этот мир принял ее с доброжелательной непринужденностью, и все-таки каждая встреча с ним вызывала у нее опаску. Ее жизнь, в общем-то незамысловатая, а главное, абсолютно частная, никому кроме близких не интересная, вдруг сделалась частью какой-то другой, слишком значимой социальной жизни. Это произошло так неожиданно и казалось ей таким несоизмеримым тому, как сама она себя внутренне ощущала, что первое время приводило в растерянность, причем в таких действиях, которые вообще-то не казались ей сложными.

Какое платье надеть? А туфли? А кольца? Лера помнила, как в первый год ее замужества, когда Митя как раз дирижировал новогодним концертом в Вене, все это заботило ее так, словно она должна была ехать туда в качестве растерянной дебютантки, которая не знает, что ей надеть на бал.

Теперь, через двадцать лет, ей казалось, что круг замкнулся.

Митя снова дирижирует Венским новогодним концертом, перед этим играет с Берлинским филармоническим оркестром в Баден-Бадене, она снова едет с ним...

Но переменялась она совершенно, и перемена эта ничуть ее не радует.

Для того чтобы выглядеть в рождественской сказке соответствующим образом, Лере не нужна была ни фея, ни тыква. Когда-то она с вдохновенным удовольствием поняла, что талантливые люди доверху наполнили материальный мир красивыми и необычными вещами. Украшения оказались одной из самых увлекательных его составляющих – свой интерес к ним Лера называла сорочьем.

Тот интерес давно прошел, но драгоценности остались, тем более что и Митя их ей дарил, объясняя, что это очень облегчает ему жизнь: можно не ломать голову над тем, чего ему все равно не понять, а без размышлений выбирать к любому празднику какой-нибудь блестящий металлический предмет.

К концерту в Баден-Бадене Лера взяла с собой платье цвета полыни и одну из самых прелестных своих брошек – лопнувший гороховый стручок, в бледно-зеленой эмали которого виднелись изумрудные горошины.

А что сердце не отзывается на все это как на сказку, ну так ведь детство прошло, и молодость прошла тоже, и все это так и должно быть, наверное.

Глава 5

Что не менялось в Лериной жизни с годами, это любовь к тем местам, которые несколько пафосно, но верно называют священными камнями Европы.

Лихтентальская аллея была покрыта не камнями, а мелким гравием и песком, но к ней это определение относилось точно. Лерино воображение подчинялось в этом смысле самым что ни на есть предсказуемым законам, благодаря которым и процветает туризм. Идя по аллее, она представляла, как шел по ней Тургенев и мелькал у него в воображении сумрачный, дымный облик роковой красавицы, о которой он потом и написал здесь же в Баден-Бадене.

Она еще вчера об этом подумала, когда сразу по приезде вышла на балкон, с которого Лихтентальская аллея видна была вся, и праздничные огоньки, сверкающие вдоль берега Ооса, и темные шварцвальдские вершины вдали над городом видны были тоже. Из-за близости этих гор вечером стало холодно, и ветки деревьев на аллее заблестели как стеклянные, и далеко был слышен рождественский звон колоколов.

– У тебя появилась потребность опереться на что-то кроме личного опыта, – сказал Митя, когда после ужина уселись в каминном зале и Лера сообщила ему об этом своем впечатлении.

В Баден-Баден приехали в рождественский Сочельник, поэтому сидели у камина одни. Трудно было представить немцев или французов, которые решили бы провести этот вечер вне дома. Гостей из каких-нибудь далеких стран тоже не было в зале.

Может, Наполеон с Александром Первым здесь и поссорились перед войной? Нет, это на балу вроде было. Накануне любой поездки Лера читала обо всем, что предстояло увидеть, и об этом отеле прочитала тоже, оттого и про императорскую ссору знала.

На круглом столике перед камином стоял перевернутый бокал, под ним лежала алая роза с зелеными листочками. Сверху, на круглом основании тонкой ножки бокала, стояла зажженная свеча, тоже алая, с едва заметным зеленым ободком.

Дрова искрились с рождественской классичностью, белое рейнское сияло в бокалах, и если подступал извне мрак, то эти искры и это сияние ограждали от него надежнее, чем каменные стены.

– Что значит опереться? – не поняла Лера.

От рейнвейна в голове у нее стоял легкий туман, поэтому, наверное, ее мысли не успевали за Митиными.

– Тебе стали нужны места, где есть общее для всех прошлое, – сказал он. – И оно имеет неизменные формы, на которые может опереться личный опыт. Видимо, для тебя пришло время, когда без этого не обойтись.

– А для тебя не пришло?

Его слова почему-то уязвили.

– Наверное, нет.

Он смотрел на огонь, и пламя не отражалось, а бесследно исчезало в его глазах.

– Почему?

– Мне проще, Лер. Мне не надо этого искать.

Конечно, не надо. Все уверены, что талант хрупок, уязвим и нуждается в поддержке, но по отношению к Мите это не так. В него все опоры от рождения встроены, и что обычного человека может вдребезги разнести, от него отлетает, как дождевые капли от алмаза, и никакая поддержка извне ему не нужна, Лера много раз в этом убеждалась.

С некоторых пор его стоицизм стал ее почти пугать. Как будто есть в этом для нее что-то новое. Или действительно не было в нем раньше того, что она с раздражающей саму себя неточностью называет стоицизмом? Лера не понимала.

Да и многое ли она понимает из того, что происходит у него внутри?.. Не было у нее ответа на этот вопрос, и она старалась не задавать его себе.

Однако Митя оказался прав: теперь, утром, идя по Лихтентальской аллее, Лера в самом деле чувствовала себя так, будто ее под руку ведут. Даже хмурый Тургенев – очень уж мрачно выглядел его памятник! – казался ей поддержкой.

Митя с утра уехал на репетицию, и она вышла прогуляться одна.

Лера была в Баден-Бадене десять лет назад. Как раз когда открылся Фестшпильхаус и Митя впервые давал в нем концерт. Теперь ей хотелось вспомнить этот город. Вернее, тогдашние свои чувства вспомнить.

Она пыталась их поймать, свои прежние чувства, но это ей не удавалось. Может быть, потому что Германия не относилась к тем странам, которые она ощущала близкими себе. Такой страной была Италия – попадая туда, Лера чувствовала себя как птица, которую подбросили в воздух.

Но все-таки многослойная европейская жизнь была ею любима вся, потому и простота, ясность Баден-Бадена казалась если не близкой, то все же необходимой.

Лера прошла мимо Курхауса, мимо Оперного театра. Мелькнула мысль, что надо будет спросить у Мити, не думал ли он привезти сюда какую-нибудь из ливневских опер. Мариинка часто привозит, она специально осведомилась перед поездкой.

Но размышлять сейчас о делах совсем не хотелось.

Она свернула на узкую улицу, образованную фахверковыми домами с рождественскими венками на дверях, и вышла на маленькую площадь.

В первый день после Сочельника все здесь словно вымерло. Ярмарки закрылись, кафе и магазины тоже, людей на улицах почти не было, и Лере казалось, что она бродит по зачарованному царству из сказки про Спящую Красавицу.

Переливались огоньки на живых елках, переливались разными цветами – фиолетовым, золотым, серебряным – елки не живые, а искусно сделанные, фантастическими россыпями сверкали над домами шары, будто присланные сюда инопланетянами, цепочки веселых фонариков тянулись над мостовыми и увивали деревья. После предновогодней Москвы трудно было удивиться роскоши праздничного антуража, но здесь была не роскошь, а такое тихое очарование, которым хотелось любоваться не удивления ради, а лишь потому, что это наполняет покоем глаза и сердце.

«И как только Гоголь мог „Тараса Бульбу“ в Баден-Бадене писать? – подумала Лера. – Казачьи зверства последнее, о чем здесь хочется знать».

Как можно среди здешней гармоничной красоты дойти до такого лихорадочного умоисступления, чтобы проигрывать в казино обручальное кольцо молодой жены, она, правда, не могла понять тоже. Ну так она и не Достоевский – ее мир устроен логично, внятно и в общем незамысловато.

Вчерашний вечерний разговор не шел у нее из ума. Память у Леры была хорошая, и не только в том смысле, что она быстро усваивала информацию – скорее, у нее была память на сильные впечатления. Они и вставали перед глазами, то ли высветляя, то ли скрывая своей пестротой что-то для нее важное.

Лере казалось, Митя уже говорил однажды о формах жизни, но говорил в каком-то другом смысле, чем вчера. Ей хотелось поймать тот прошлый смысл так же, как прошлые свои чувства. Но так же, как те чувства, он ускользал, терялся во множестве подробностей, которые не померкли за тридцать лет.

Ее дрожь пробирала, когда она даже мысленно называла такие цифры. И только яркость, с которой восставали в памяти отделенные тридцатью годами события, успокаивала ее.

Тогда она поехала с Зоськой в Стамбул за товаром. Звучало, может, обыденно, но Лере было двадцать пять лет, это была ее первая поездка за границу, первая в жизни, и она, конечно,

ждала ее с такой счастливой наивностью, с какой только и могла ждать домашняя девочка, дочка любящей мамы, жена милого и спокойного Кости, аспирантка профессора Ратманова, не предполагающая, что человека можно догола раздеть на таможне, чтобы поискать запрещенные сто долларов...

Все в той поездке оказалось для нее разительным, и не потому, что она устала бегать десять часов подряд по стамбульским лавкам, закупая мохер, трусы и ночные рубашки. Лера и двадцать часов могла бегать, и огромные мешки, похожие на черные блестящие капли, таскала без усталости.

Дело было в другом – она почувствовала, что влилась в какой-то очень сильный поток, и в нем действуют совсем другие законы, чем те, которые она всю свою жизнь считала незыблемыми. Какой она станет в этом потоке, было ей непонятно, и не хотелось быть никакой. Она словно выдиралась из собственной кожи, с мучительным треском меняясь каждую минуту. Поездка, предпринятая неожиданно и легко, оборачивалась чем-то бесповоротным.

Все три дня стамбульской суеты, пока были у нее какие-то занятия – торговаться, покупать, таскать, упаковывать, – Лера чувствовала даже некоторый душевный подъем. Но в день отъезда, когда смотрела на глянцевую гору мешков, странное чувство овладело ею...

Впервые она столкнулась с чем-то подобным в пионерском лагере, куда мама отправила ее после пятого класса, «чтобы ребенок подышал свежим воздухом». Тогда, в девчачьей палате на пятнадцать коек, ей вдруг показалось, что другого мира – в котором она родилась и росла, который любила, – просто не существует. Нет их дома на Неглинной, нет ее школы на Сретенке, и книг нет, которые она украдкой читала до утра, и вообще ничего нет, а есть только галдящие девчонки, на которых она почему-то должна быть похожа, и есть ходьба строем, и речевки, и утренние линейки... Тогда, вечером в лагерной палате, ей стало так тоскливо, что она полночи прорыдала под одеялом и наутро решила сбежать отсюда во что бы то ни стало. Слишком уж невыносимо было лишиться своего мира – ей казалось, что это произошло безвозвратно.

«Но ведь привыкла ты тогда, – уговаривала себя Лера. – Привыкла, и тебе даже понравилось. За ягодами можно было бегать чуть свет, на дискотеку вечером, и Сережа из второго отряда приглашал танцевать только тебя...»

Но мысль о том, что вот точно так же привыкнет она и к тому, что сидит на мешках в вестибюле гостиницы «Гянжлик», чувствуя себя животным в зоопарке, была для нее невыносима. Даже унижение таможенного обыска не могло с этим сравниться. Там по крайней мере все происходило один на один и довольно быстро. А здесь минуты казались часами, а часы вечностью...

Автобус должен был прийти только вечером. Зоська побежала в город, чтобы купить еще лифчиков на оставшуюся мелочь и таким образом выжать из поездки все что возможно, а Лера сидела на их общих мешках, которые надо было сторожить, и смотрела перед собой пустыми глазами.

Вестибюль был полон. Люди входили и выходили, направлялись в ресторан, болтали и смеялись на ходу, что-то жевали, звонили куда-то с телефонов-автоматов, просто сидели в мягких креслах и пили кофе.

Их группа, колоритная как табор, привлекала всеобщее внимание: не так уж много было тогда в Стамбуле русских челноков. Турки останавливались, показывали на них пальцами, хохотали. И, конечно, призывно подмигивали женщинам, приглашая пойти с ними, похлопывали себя по карманам, обещая деньги.

«Сейчас кто-нибудь булочку бросит, – уныло думала Лера. – Скорее бы Зоська пришла, и я бы убежала отсюда куда глаза глядят, ничего бы не покупала больше, походила бы хоть немного по городу просто так, к морю пошла бы».

И, главное, не сидела бы здесь, в этом вестибюле, на проклятых мешках, под насмешливыми и масляными взглядами, не слышала бы этого хохота...

Чтобы хоть немного отвлечься, выключиться из происходящего, Лера стала вспоминать что в голову приходило, что подсказывало мечущееся сознание. Например, простые песенки под гитару. Она всегда могла их слушать и петь до бесконечности, и сейчас, прижав ладони к ушам, чтобы ничего не слышать извне, нарочно старалась вспомнить свои любимые.

«Удлинились расстоянья, перепутались пути... До свиданья, до свиданья, где тебя теперь найти? Не увидишь, не докажешь, чья вина и чья беда. То, что спуталось однажды, не распутать никогда. Мы не встретимся с тобою, не поможет нам никто. Только грусть смахни рукою, как снежиночку с пальто».

Такая была песенка. Вроде бы никакого отношения не имела к Лериной прежней ясной и счастливой жизни. Но в той жизни Лера ее любила, потому и шептала сейчас, беззвучно шевеля губами и прикрыв глаза.

Кто-то потряс ее за плечо. Лера вздрогнула от неожиданности.

– Не спите, девушка, – услышала она знакомый голос. – Товар унесут.

Лера подняла глаза и увидела Митю. Без малейшего удивления, словно они встретились где-нибудь на Столешниках, он стоял перед нею и смотрел с обычной своей усмешкой.

Самое необыкновенное было в том, что и сама она почти не удивилась, увидев его. Как будто это и правда было совершенно обычным делом, вдруг столкнуться с ним нос к носу в захудалой стамбульской гостинице, где он не мог оказаться никаким образом. Она только обрадовалась – так обрадовалась, увидев его, что едва не заплакала.

Впрочем, эта первая радость мгновенно прошла, и Лера почувствовала невыносимый стыд перед Митей от того, что сидит на этих мешках, в этом вестибюле, под сальными взглядами. Стыд тут же сменился злостью – на него же. Зачем он появился здесь, зачем стоит рядом с нею и даже – зачем выглядит таким же как всегда с этими блестящими каплями дождя на синем плаще и темных волосах?

Кажется, Митя догадался, что с ней происходит. Усмешка исчезла с его лица, и он посмотрел на Леру как-то странно, немного грустно и немного как-то еще; она не могла понять, как, да и не хотела.

– Как ты думаешь, не пора ли пообедать? – спросил он.

– Ты что, хочешь, чтобы я еще и тушенку здесь открывала? – устало сказала Лера. Ее злость улетучилась так же мгновенно, как вспыхнула, и она действительно не чувствовала уже ничего, кроме усталости. – Мало того что сижу, как в клетке, так теперь еще устроим кормление зверей?

– Тушенку не надо, – согласился Митя. – Но тут же полно всякой еды, и все едят на ходу. Я принесу что-нибудь, вот и все.

– Дорого, – возразила Лера.

– Не дорого. И вкусно.

– Не надо, Мить, – сказала она. – У меня правда аппетита совсем нет. Тошно.

– Какого же черта ты сюда поехала! – рассердился он. – Ты что, дурочка совсем, себя не знаешь? Так расспросила бы кого-нибудь и сообразила, кому сюда надо ездить, а кому нет. С твоим воображением – не надо, это точно.

– Не сердись, – попросила она. – Я и сама теперь понимаю, но не улетишь же отсюда по воздуху. Конечно, дура, конечно, не надо было. Но я же не думала, что так всё... И к тому же – а лекарство для мамы как покупать, а вообще на что жить, можешь ты мне сказать?

Митя замолчал.

– Ладно, чего уж теперь, – сказал он наконец. – Скоро Зоська придет?

Зоська пришла через пять минут. Митино появление поразило ее как гром среди ясного неба.

– А... что ты здесь делаешь? – с трудом выговорила она.

Лера улыбнулась. Весь их двор знал, что с того дня, когда Митя дал ей имя, Зоська в него влюблена.

– Турецкую музыку изучаю, – отмахнулся он от ее вопроса.

Когда Митя растолковывал, что они с Лерой погуляют немного по городу, купят что-нибудь поесть, и ей принесут, и к автобусу точно не опоздают, пусть не волнуется, – Зоська только кивала, как китайский болванчик.

Выйдя на улицу, пошли к Галатскому мосту. И все, что было потом, обрушилось на Леру морем звуков и красок таких ярких, что ни тридцати с тех пор прошедших лет, ни даже ста не хватило бы, чтобы они исчезли из ее памяти. Словно сняли бумагу с переводных картинок, и те засияли всеми красками, которые, пока она бегала по лавкам, закупаая ширпотреб, были скрыты и тусклы.

На Рыбном рынке улов из четырех морей заливал прилавки серебряными волнами. Скумбрия, ставрида, кефаль, меч-рыба – про этих Лера хотя бы слышала. А были еще какие-то, с красными пятнышками у губ, и были плоские как блины, и омары, и мидии... К тому моменту, когда пообедали у жаровни пожаренной при них рыбой и, дойдя до Египетского рынка, уселись в маленькой кофейне, у Леры даже шея заболела от того, что она беспрестанно вертела головой налево и направо.

Вообще-то Египетский рынок и не рынок был даже, а сводчатая улица-лабиринт с окнами по бокам. Каждое из окон было маленькой лавкой, из которой продавали фрукты и овощи: прозрачный мускатный виноград, всех цветов и оттенков оливки, и абрикосы, и персики, и сушеный инжир в соломенных корзинках, в которых каждая инжиринка была завернута в фольгу, и перцы, и баклажаны... А дальше сладости, горы мраморной халвы, и еще, и еще – и до бесконечности!

Это было так красиво, от всего этого веяло таким счастливым избытком и жизнью, что Лера смеялась, идя по улочке между бесконечными фруктовыми рядами и пробуя все подряд, пока они с Митей не оказались в полутемной кофейне, где серьезный турок с выражением священнодействия варил кофе в темных медных джезвах: трижды давал подняться шапкам пены, потом легко стучал по горячей меди, и пена делалась белой.

– Тысячу раз ведь описан этот город, – тихо сказала Лера, вдыхая жаркий запах кофе над крошечной чашечкой. – И я же столько читала... А когда попала сюда, как затмение нашло. Ты понимаешь, мне показалось, что не было здесь ничего. Ни Святой Софии, ни вот этих базаров знаменитых, и генерал Хлудов не смотрел на эту бухту... Только лифчики, да мохер, да кошельки со стразами по сто штук в руки. Я все забыла, ничего не видела! Наваждение, да?

– Не знаю, Лер, – ответил Митя. – Я сначала подумал, тебе не надо было все это затевать. А теперь правда не знаю. Какой смысл в том, чтобы закрывать глаза перед жизнью? В тебе она бьет через край, все равно тебе себя не удержать. Но ведь тяжело это.

– Что тяжело? – не поняла Лера.

– Да вот это столкновение с жизнью, на которое ты решилась. Мне всегда странно было: как это ты Тинторетто изучаешь? На тебя только взглянуть...

– И появляются мысли не о Тинторетто, а о кошельках со стразами? – обиделась Лера.

– Нет, совсем не то. Я же сказал: жизни в тебе много, и сразу ясно, что ей тесно в застывших формах.

– Ты считаешь, это плохо?

– Это нелегко. Застывшие формы поддерживают, а выдержать без них – на это не каждого хватит, особенно теперь. Времена идут тяжелые.

Наконец она вспомнила те его слова! Они пробились сквозь пестроту подробностей, встали в ее памяти так, будто Митя произнес их вот сейчас, в эту минуту на баден-баденской площади. Лера даже оглянулась, так ясно послышался ей его голос. Может, от того, что тогда,

тридцать лет назад в Стамбуле, тоже был конец декабря, и даже погода была похожа – так же блестели мокрые ветки, дрожали на них крупные капли, и звуки далеко разносились в воздухе.

Жизнь ее замкнула какой-то круг, не зря ей то и дело приходит в голову этот образ. Снова идут тяжелые времена, вернее, уже пришли, как и в тот год, когда она бегала по стамбульскому рынку, охваченная страхом согнуться под беспощадным ветром жизни. И что с того, что бороться теперь приходится не за кусок хлеба? По сути все вернулось в пугающей неизменности. Кроме нее самой. В ней, в ней больше нет того, что называют силой природы, и все, с чем за долгие годы связала ее жизнь, не может ей эту силу дать, потому что сила эта не внешняя – внутри у нее она истончилась, развеялась, исчезла, и Митины вчерашние слова это лишь подтверждают.

Лера вздрогнула, будто ее пробрало ветром. Но ветра никакого не было, лишь мороз, идущий с гор Шварцвальда, уже пробовал вечернюю силу во влажном зимнем воздухе.

Пора возвращаться в отель. Митя придет отдохнуть и одеться, концертный фрак уже выгляжен и доставлен, да и самой одеваться надо, и, может быть, он поест, нет, перед концертом не станет, ну и ей не хочется...

Все это были обычные мысли, они успокаивали так же, как ласково подмигивающие рождественские огни и гул церковного колокола. Лера подняла на голову шарф, трижды обернутый вокруг шеи, и повернула обратно к Лихтентальской аллее.

Глава 6

Перед концертом она не заходила к Мите никогда, и в этот вечер тоже – это было не нужно. Не нужны были и какие-либо ее сопутствующие усилия: агент, с которым Митя работал много лет, поставил дело так, что любое постороннее вмешательство только внесло бы суету и помехи.

Когда в первый год своей с Митей жизни Лера спросила, не нужно ли ей поехать в Базель, где у него назначено сольное выступление, на день-два раньше, посмотреть, хорош ли отель, вообще, подготовить что-то необходимое, Митя удивился, а потом сказал, что, конечно, не нужно.

– Не обижайся, Лер, – объяснил он. – Я же с каких лет езжу, все давным-давно налажено. Контролировать не надо, помогать тоже.

В общем-то она и сама это понимала – особые обстоятельства Митиной жизни были ей известны лучше, чем кому-либо другому.

Лера училась во втором классе, когда ей почему-то вздумалось заняться музыкой. В музыкальную школу ее не приняли за полным отсутствием слуха, но мама решила, что Лерочкино стремление к прекрасному надо поощрять, тем более что оно разительно отличается от ее обычных интересов – лазить по чердакам и делать взрывпакеты вместе с соседским Витькой. Через несколько дней после музыкального экзамена мама сообщила, что Елена Васильевна Гладышева из седьмой квартиры согласилась с Лерой заниматься, и это, конечно, большое счастье, потому что Елена Васильевна педагог настоящий, и если бы не ее болезнь – после родов парализованы ноги, – то она не на дому, а в консерватории преподавала бы.

Так Лера стала приходить в гладышевскую квартиру, и жизнь ее переменялась совершенно, потому что переменялась она сама. Правда, музыкальные уроки длились не больше года – слушая Митину скрипку, странно было бы не понять вздорность собственных попыток брэнчать на пианино. Да и с самого начала это Лерино желание ничем не отличалось от множества других ее детских фантазий вроде занятий в химическом кружке или выращивания птиц на станции юннатов. Все желания такого рода мгновенно вспыхивали в ней и мгновенно же гасли, и нынешнее не стало исключением.

Но с Митиным домом оказалось связано другое, и это другое не прошло ни через год, ни через десять лет. Разговаривая с Еленой Васильевной, читая книги из огромной, собранной тремя поколениями Гладышевых библиотеки, Лера прикоснулась к жизни, о которой даже не подозревала. Эта была особенная жизнь человеческого духа, и трагичность существования была такой же ее составляющей, как радость. Радость происходила от голоса Митиной скрипки, от картин, висящих на стенах или скрытых обложками альбомов – в одном таком альбоме Лера впервые увидела «Рай» Тинторетто, и если бы не это, вряд ли она решила бы поступать на историю искусств в МГУ. А трагичность не бросалась в глаза, но все равно существовала – и от того, что Елена Васильевна проводила свою жизнь в инвалидном кресле, и еще больше от того, что ее муж, Митин отец, ушел, полюбив другую, и хотя все в жизни этого дома поддерживалось, да и просто оплачивалось им, понятно было, как тяжело это для Елены Васильевны.

Более тяжело было для нее, пожалуй, лишь то, что она не могла принимать в Митиной жизни такого участия, которое считала само собой разумеющимся – сопровождать его в поездках, занимаясь всем, чем с волнением и восторгом занимались другие мамы и бабушки талантливых детей: наглаживать рубашки и брюки, следить, не дует ли из окна в гостинице и есть ли суп к обеду... Но Лера своими ушами слышала, как Митя сказал однажды:

– Мама, это может делать любой. А то, что можешь ты, не сделает для меня никто, и только это мне нужно.

Лере было тогда девять лет, Мите, значит, четырнадцать, но она поняла, о чем он говорит, и ни на мгновение не усомнилась в том, что все именно так и есть, как он говорит: Елена Васильевна знает, что ему нужно, и делает это для него.

Елена Васильевна умерла тридцать лет назад, а то ли, что нужно, делает для Мити она сама, было для Леры сложным вопросом. Иногда ей казалось, что и через двадцать лет жизни с ним она не знает этого полностью и даже, может быть, теперь знает гораздо меньше, чем двадцать лет назад.

Но как бы там ни было, в его музыкальную жизнь она не вмешивалась и занималась только жизнью Ливневского театра. Это требовало всего ее времени и всех сил, поэтому профессионализм агента, освободившего ее от забот о Митином концертном быте, оказался удобен так же, как и Митин минимализм во всем, что считается необходимым для жизни.

Фестшпильхаус был перестроен из здания баденского железнодорожного вокзала. Собственно, старинный вокзал остался, но там, где когда-то начинались железнодорожные пути, к нему был пристроен куб из мрамора и стекла, не сразу заметный за неоклассическим фасадом. В нем-то и находился концертный зал, огромный, на две с половиной тысячи мест, и все это было выразительным объяснением того, что такое европейская многослойность.

Проводив Митю до артистической, Лера вышла в вестибюль. Он был украшен рождественскими гирляндами, но и собственная его красота – лепнина, фрески, расписной потолок – создавала ощущение праздника и чего-то еще, тонкого, трепетного, но несокрушимого. Лера знала это ощущение по множеству театров и залов, где играл Митя. Ей казалось, что оно возникает и в Ливневском театре, и она гордилась этим.

Она погуляла по нижнему и верхнему фойе, полюбовалась людьми – все вместе они выглядели как импрессионистская картина, – выпила шампанского, подумала, что хочет уже и есть, потому что, как и Митя, не стала обедать, но решила, что потерпит до ужина, который будет после концерта; на ужин их пригласил директор, встречавший у служебного входа.

Вообще-то Лера не очень любила огромные концертные залы – камерность Ливневского театра казалась ей привлекательнее. Но Фестшпильхаус был построен так продуманно, что его пространство не выглядело чрезмерным.

Зал был заполнен весь, до верхних ярусов, и насыщен ожиданием музыки, как воздух бывает насыщен предгрозовым электричеством. Это чувствовалось даже физически – Лере казалось, ее открытые вечерним платьем плечи покалывает морозными искрами.

Перед тем как пройти на свое место, она подошла к сцене, чтобы разглядеть, как выглядит механизм, с помощью которого первые ряды партера можно превращать в оркестровую яму во время оперных спектаклей. Хоть и понятно, что стоит такое устройство слишком дорого для Ливневского театра, но реалисты, как известно, требуют от жизни невозможного, а себя Лера считала безусловной реалисткой. Разглядеть механизм ей, правда, не удалось, но можно было не сомневаться, что он действует без сбоев.

Она вдруг поняла, что ищет повод для того, чтобы вызвать в себе взволнованность. Эта догадка показалась такой странной, что ускользнула, не успев сложиться в мысль. Да и свет в зале погас, и начали выходить на сцену музыканты.

Лера не чувствовала Митиной отдаленности от нее, когда он был на сцене. Вряд ли это было связано с тем, что она бывала на множестве его концертов. Точно так же она не почувствовала его отдаленности, отдельности и когда Елена Васильевна первый раз пригласила ее в консерваторию, где он дирижировал симфонию «Процальная» Гайдна.

Лере было тогда десять лет, и ей больше всего понравилось, что каждый музыкант, закончив свою партию, гасит свечу, горящую на его пюпитре. Последнюю свечу погасил Митя, когда симфония закончилась. То есть не одни лишь свечи – Митино дирижирование, конечно, понравилось тоже. Но Лере ведь нравилось все, что он делал, вообще все – и когда звуки его скрипки доносились из кабинета в гостиную, где Елена Васильевна рассказывала ей про Венецию, и

когда однажды он в две секунды показал ей, как надо играть «К Элизе» Бетховена, просто проиграл одной рукой на пианино, и все стало понятно. Ну и дирижирование должно было ей понравиться обязательно, так и вышло. Он был такой свой в необыкновенности каждого его действия, что Лера не могла отделить его от себя ни в чем.

Как он мог ее полюбить при такой обыденности ее присутствия, при такой многолетней повседневности ее скольжения по краю его жизни? Она долго не могла к этому привыкнуть.

С тех пор как Лера стала директором Ливневского театра, отсутствие слуха угнетало ее. То есть для работы это не было помехой – вокруг музыки требовалось делать очень много всего такого, для чего музыкальность была вообще не нужна. Но ядрышко музыки в скорлупе обыденности – этот вкус ей всегда хотелось почувствовать. И сейчас тоже хотелось бы именно чувствовать, что оркестр играет прекрасно, а не просто знать, что Берлинский филармонический не может играть иначе. Но уж как есть, так и останется – на шестом десятке никто не одарит музыкальностью.

Митино лицо было близко, и как раз сейчас оно было именно такое, как на «Портрете музыканта» да Винчи: не понять, что он думает и чувствует, куда всматривается, что тонет в углах его глаз, в темной тени прямых ресниц. А значит, и тот единственный способ, которым Лера могла чувствовать музыку – через Митю – был для нее в эти минуты недоступен.

Она вдруг поняла, что думает об этом спокойно, как о непреложном факте. Когда она стала думать так, и неужели это в самом деле непреложно?.. Лера не знала.

Она ждала, когда вступит его скрипка. Ей необходимо было волнение, вызываемое этими звуками, и трепет, создаваемый из воздуха прикосновениями Митиного смычка, нужен был ей как вдох.

В полной, абсолютной тишине огромного зала прозвучали первые звуки скрипичного соло.

Она слушала их и даже что-то в них понимала, потому что, бывало, расспрашивала Митю о том, что он играет, и он никогда не отвечал ей пошлостями вроде «этого не объяснить словами», хотя музыку ведь в самом деле словами не объяснить... В общем, смысл его игры был Лере понятен. Но чувства ее будто пленкой затянуло, и ни трепет по ним не пробегал, ни протуберанец из них не вырывался.

Это казалось ей не странным, а таким каким-то страшным, что она боялась смотреть на сцену. Вряд ли Митя поймал бы ее взгляд, играя, но она все равно смотрела вниз, на собственные пальцы, сжатые на барьере ложи, и на кольцо с изумрудом, боковым зрением видела приколотую к платью брошь с изумрудными же горошинами, что-то еще неважное...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.